

VALERIY VINOGRADSKIY

ССЭИ (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова / Саратов

ГОЛОСА КРЕСТЬЯН В ИХ ДИСКУРСИВНОЙ ПРОЕКЦИИ¹

The voices of peasants in their discursive projections

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: крестьянские миры, повседневные жизненные практики, дискурсивные практики, крестьянские нарративы, язык как отражение и форма социального бытия

KEYWORDS: peasant worlds, daily life practices, discursive practices, peasant narratives, language as a reflection and form of social being

ABSTRACT: On the basis of studies of regularly supplemented archives of peasant family stories, audio records, as well as additional materials collected by performers in different corners of rural Russia a fundamental two-staged research task will be implemented - the first task is to form an interdisciplinary scientific idea concerning essential features of peasants' discourses, and the second task is to see the forms and directions of their historical changes. "The discourse in time" – that is the shortest formulation aimed at the analysis of prerequisites (social, cultural, historical) which determine the mechanisms and forms of evolution of the folk language viewed in a sociolinguistic projection. The core of the research is formed by a multidimensional study of the so-called "voices from the underground" – peasants' narratives regularly recorded by performers for more than 20 years.

В ходе полевых историко-социологических исследований российской деревни («Первая крестьяноведческая экспедиция Теодора Шанина»), которые стартовали в ноябре 1990-го года и целью которых было извлечь из информационной темноты исторические пейзажи повседневного крестьянского существования, начиная с времен коллективизации (иногда память респондентов освещала мизансцены гражданской войны), – в ходе этой тщательно спланированной, долговременной работы исходный список аналитических намерений начал постепенно пополняться. Уже через пару месяцев, когда социологи-полевики обвыклись в деревенских порядках, перестали шараться от собак и скотины, переделались в серенькое из

¹ Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 15-03-00004.

цветного-городского, слились со здешним миром, несколько посуровели и на место округленных от удивления глаз явился наметанный опытный прищур, проектный регламент начал, потрескивая, раздаваться вширь. К регулярной экспедиционной программе неожиданно и сами собой стали добавляться новые, часто боковые, факультативные сюжеты и темы. Их объем со временем увеличивался, они порой своевольно отпрыгивали от рационально выстроенной Т. Шаниным аналитической магистрали и прихотливо ветвились. Обычно так и бывает, – запланированный аналитический захват крестьянского мира обернулся тем, что этот мир нацелился на самого аналитика. Сомкнув объятия, осваиваемое социологическое «поле» неотвратно забрало и тебя самого в собственный событийный порядок и информационный плен. Навело на новые феноменологические и информационные месторождения.

Одно из таких незапланированных проблемных сгущений связано с обликом языкового пространства деревни. Как оно выглядит? Что происходит с казовыми фигурами крестьянской повседневности, и особенно, с крестьянской коммуникативной культурой, в частности, с речью и языком? Как и почему заметно гаснут, уходят и ощутимо перерождаются растворенные в повседневных деревенских практиках традиционные крестьянские способы, форматы и манеры речевого освоения мира? Куда с течением времени уходит своеобразный, плотный, крупный, колоритный, поражающий своей упорной, раздирающей мир энергетикой, крестьянский разговор? В чем притягательность, прямота и brutальная суровость этой словесной материи? Эти вопросы, однажды возникнув, прочно укоренились в сознании. И настоятельно потребовали специальной, программно замысленной и внимательно сосредоточенной описательно-аналитической инициативы. Так мы стали систематически вслушиваться в постепенно и очевидно затихающие крестьянские «голоса снизу».

Рождение подобного замысла – запечатлеть контуры и истолковать процессы эволюции корневого крестьянского языка – было подтолкнуто и ускорено наступившим на наших глазах прощальным смертным часом. Ведь мы, в сущности, были свидетелями массового ухода из жизни целого поколения русских крестьян, социальные, культурные и языковые корни которого кроются в исторических пластах, лежащих практически на столетней глубине. Крестьянские 75–80-летние старики, с которыми мы подогу беседовали 25 лет назад, записывая их семейные саги, на нашей памяти завершили свой жизненный путь, но их подлинные голоса были в ходе социологической экспедиции тщательно зафиксированы, причем в значительных объемах. Автор и его коллеги, постоянно сотрудничающие как полевая и аналитическая команда, записали свои первые нарративы

в 1990 году, разговаривая с крестьянами, родившимися в начале XX века. Последние записи крестьянских устных историй датируются 2015-м годом. Авторы этих повествований – уже состарившиеся дети и вполне зрелые внуки давно ушедших стариков. Таким образом, создан объемистый массив нарративов, ждущий и требующий анализа.

Еще раз подчеркнем, что, занявшись крестьяноведческими исследованиями, авторы не предполагали и не планировали отдельно и специально сосредоточиться на крестьянских социолингвистических материях. Нет, в качестве центральной задачи мы осуществляли анализ, сфокусированный, прежде всего, на с о д е р ж а н и и социально-экономических и социально-культурных проекций повседневных крестьянских практик. Нам нужно было построить по возможности широкую, многоцветную панораму крестьянских трудов и дней, сосредоточившись на реконструкции базовых деятельностных композиций. Однако довольно быстро мы почувствовали и затем поняли, уяснили для себя, что и собственно ф о р м а , языковая материя крестьянских повествований – неотъемлемая оболочка жизненных обстоятельств и событийных констелляций. Ведь в самом речевом строе, в крестьянских нарративах, в деревенских дискурсивных манерах своеобразно и довольно точно высвечивается, отражается как само существо, так и оценка (порой – хлесткая, меткая и сущностная, иногда – консервативная, искаженная и пристрастная) происходящих перемен и трансформаций. Поэтому замысел изучения крестьянских нарративов возник, что называется, по ходу дела и был порожден намерением уже специально и углубленно проанализировать «голоса снизу» как существенный инструмент совладания с миром, как форму его освоения и оценки, как меняющиеся под влиянием жизненных перемен крестьянские дискурсивные форматы и пространства.

Работа началась с предельно тщательной диктофонной записи устных крестьянских историй и такой же скрупулезной их расшифровки, сохраняющей все языковые детали и интонации. Так были накоплены значительные речевые массивы, в которых наглядно закреплена не только специфичность личностных качеств конкретного рассказчика, но и развернуто общее полотно крестьянских повествовательно-нарративных форматов. Их научное осмысление предполагает предварительное формулирование некой исходной аналитической проекции.

2. «Голоса снизу» как дискурс

Представляется, что собранный материал может быть продуктивно захвачен посредством социолингвистической категории «дискурс», а конкретной начальной фокусировкой подобного рода проблематики может выступить истолкование крестьянского дискурса как особого модуса повседневного существования, как форму мышления и языка. Данный проблемный узел может быть охарактеризован в серии следующих вопросов. Как и почему с течением времени меняются способы и формы крестьянских дискурсивных практик? Что гложет и выветривается из корневых крестьянских дискурсивных манер? Способен ли крестьянский нарратив отразить в себе фундаментальные характеристики крестьянского способа мышления и действия? В чем именно специфика «голосов снизу»?

Поэтому наиболее общая цель статьи состоит в том, чтобы попытаться нащупать специфику крестьянской дискурсивности. Дискурс в первом аналитическом приближении понимается здесь нами как «языковая метка» субъекта, как нечто прирожденное, органическое, прицепившееся к человеку с его детских лет. И в этом смысле дискурс в качестве речевой манеры можно уподобить, как я попытался доказать, персональной человеческой осанке, его неповторимой фигуре, его «речевой походке». (Виноградский, 2016).

Подобная постановка проблемы – разглядеть дискурсивные проекции голосов крестьян – и сопутствующих ей вопросов для автора нисколько не факультативна, произвольна или случайна. Напротив, она буквально навязана логикой всей его научной биографии – полевой и аналитической. Более 20-ти лет пристально наблюдая и анализируя крестьянскую повседневную жизнь, я вместе с коллегами убедился: трансформации, которые произошли в российском крестьянском социуме, затронули далеко не только спектр хозяйственно-экономических практик. Вся сельская Россия за эти годы заметно изменилась – социально, демографически, поселенчески, культурно. И, в немалой степени, – лингвистически, риторически, дискурсивно, мыслительно, стилистически. Причем такая трансформация социолингвистического облика русского крестьянина ощущается полевыми социологами весьма остро, поскольку увидена и услышана вживую. Впрочем, любой внимательный наблюдатель, имеющий сколько-нибудь продолжительный опыт контактов с крестьянскими мирами, неплохо различает прежние и нынешние крестьянские дискурсивные форматы и практики.

Таким образом, после изучения различных аспектов эволюции российской деревни, обобщенного в серии монографий и научных статей

(см.: Виноградская, Виноградский 2007, 226–228; Виноградский 2011; 2012a; 2012b), настала пора сформулировать и рассмотреть проблему крестьянского дискурса. «Голос снизу» – каковы его родовые характеристики? Как зафиксировать его прежние и нынешние параметры? В каком направлении он эволюционирует? Эти вопросы закономерно итожат уже аналитически освоенный ансамбль социально-экономических и культурно-психологических опытов сельских жителей. И они же дают возможность еще раз погрузиться в тексты нарративов и увидеть в них новые глубины, повороты и смыслы. Дискурсивный анализ крестьянских нарративов немыслим без его соотнесенности с течением социального времени. Исходя из этого, анализ необходимо развернуть в диапазоне трех поколений российских крестьян – дедов, сыновей и внуков. И материал для этого есть. Устные семейные истории крестьянских «дедов» были записаны нами на рубеже 1990-х, дискурсивные практики «сыновей» зафиксированы (и этот процесс продолжается) в «нулевые» годы, нарративы «внуков» (их пока еще можно найти в селе) слушаются и копируются диктофонами сегодня и завтра. Подобного рода дискурсивная панорама дает возможность разглядеть и понять некие малозаметные, плотно прижатые к бытию, прячущиеся в глубинах повседневности контуры и детали российского социального существования.

В чем заключается значимость и своевременность такого рода аналитической проекции? Исследование эволюции крестьянских дискурсивных практик как важной формы движения социальной материи, рассмотренной в обширном, равном трём крестьянским поколениям, временном диапазоне, представляется актуальным по нескольким причинам. Во-первых, подобная аналитическая проекция позволит, как я надеюсь, обогатить науку обобщениями, в которых подходы социологические плотно переплетены с культурно-психологическими и социолингвистическими. Междисциплинарный характер исследования в данном случае налицо. Во-вторых, сегодня ощущается потребность в переходе от узкоспециализированных (экономических, хозяйственных, организационно-политических) исследований крестьянской повседневности к расширению взгляда – построению панорамных исторических линий эволюции сельских сообществ. Не исключено, что крестьянская цивилизация завершает свою историческую судьбу. В-третьих, актуален новый поворот во взгляде на крестьянское повседневное существование, связанный с привлечением внимания к его языковой материи. Всё это, в свою очередь, потребует выработки и уточнения как методологического, так и процедурно-аналитического потенциала концепции крестьянских дискурсивных практик, поскольку в современной социологической науке подобного рода аналитика является сравнительно новой и востребованной.

Конкретная, непрерывно и постоянно находящаяся в центре внимания автора задача заключается в том, чтобы, анализируя крестьянские нарративы, понять существо соответствующего дискурса. Последний, воплощенный в нарративах, – это особый модус крестьянской повседневности. Как его истолковать? Классик крестьяноведения, антрополог Р. Редфилд весьма проницательно обозначил крестьянство как «нерассуждающее большинство» (см.: Редфилд 1992). Со временем в этой характеристике поменялись лишь числовые параметры – крестьянство давно уже не «большинство». Однако «нерассуждение» как особая дискурсивная черта, «нерассуждение» как элемент дискурса, являющегося важным модусом повседневности, довольно отчетливо наблюдается и сегодня. Со временем оно трансформируется, но его родовые черты продолжают светиться в записанных нарративах. Отыскать, нащупать и понять структуру и смысл крестьянских дискурсивных «нерассуждений», объяснить их «генетику», соотнести между собой дискурсы «дедовские» и дискурсы, производимые крестьянскими «детьми» и «внуками», проиллюстрировать и прокомментировать важнейшие фрагменты языковой материи, рожденной в глубинах сельского социума – вот та конкретная задача, которая будет решаться в различных аналитических проекциях. Формулируя кратко, задача исследования заключается в том, чтобы, соединив теорию и историю, понять качества, свойства и вариации крестьянских дискурсивных систем.

Попытаемся наметить основные предпосылки и главные линии анализа интересующей нас проблематики. Начнем с того факта, что корневое русское крестьянство сегодня невозвратно уходит. Крестьянство как особый *modus vivendi*, видимо, завершает свой цивилизационный маршрут, забирая с собой всю свою хорошо опробованную, скромную бытийную оснастку. Крестьянство удаляется вместе с суммой нехитрых, обкатанных веками, крестьянских технологий – производственных, социальных, культурных. И, одновременно и неизбежно, – вместе с крестьянским коммуникативно-текстовым пространством, которое, так или иначе, формулировало, сопровождало и воплощало повседневное существование народа, работающего на земле и живущего натурой. Самое досадное и, вероятно, непоправимое в этой истории то, что крестьянство постепенно смолкает. Безвозвратно уходят в тишину привычные, живые крестьянские разговоры, диалоги, присказки, речения и прибаутки. Видимо, им уже не дана возможность новой жизни. Коренным крестьянам уже не суждена участь обитателей «фейсбуков», авторов «живых журналов», твиттерян и блоггеров, перед которыми расстилается «прекрасный новый мир». Крестьянская песенка, что называется, спета. И изо всех исторических потерь эта последняя – самая

неприметная. Но и самая, как нам кажется, драгоценная. Смириться с ней поистине тяжко.

Поэтому необходимо (и причем срочно) описывать, анализировать, истолковывать те способы, манеры, те «обыкновения» высказываться, которые свойственны именно крестьянским нарративам. Интерпретационный инструментарий для такого рода репрезентаций и сопоставлений имеется. Я имею в виду междисциплинарное понятие дискурса, дискурсивных практик. Что такое дискурс? Развернутый ответ на этот вопрос требует особого и длинного разговора. Но очевидно, что понятие «дискурс» – один из самых интенсивно применяемых инструментов в современных гуманитарных и социально-политических науках. Так, весьма развиты разнообразные лингвистические подходы к анализу дискурса, включая методы социолингвистики, этнолингвистики, лингвокультурологии и прочих лингвистических дисциплин. Семиотические трактовки рассматривают дискурс как знаково-символическое культурное образование, как культурный код. Социально-коммуникативные подходы акцентируют внимание на коммуникативных целях и социальных функциях дискурса. Дискурс полагается и как сетевое коммуникативное пространство, в котором происходит конструирование и переформатирование реальности (см.: Йоргенсен 2004; Карасик 2002; Седов 2004; Текст. Дискурс. Культура 2008; Чернявская 2006).

Отметим, что разного рода подходы к пониманию дискурса не являются жесткими оппозициями или альтернативами. Это, скорее, аналитические акцентуации, те или другие фокусировки. Ad hoc-конструирование понятия «дискурс» всякий раз заставляет настраивать оригинальную методологическую оптику, вращать верньер познавательного бинокля в поисках резкости и глубины изображаемого пространства – в зависимости от тех или иных познавательных задач. И это не странно, поскольку само понятие дискурса изначально элементарно. Другое дело, что разнообразные, образующие его, элементы весьма многозначны и внутренне сложны.

3. Дискурс как «разговорная машина»

Помня об этом, я попробую, исходя из классических дефиниций дискурсивных практик, обосновать и развить ту аналитическую проекцию, которая, как мне кажется, будет уместной в данной работе. Но начну не с теории, а с беллетристики. С классической отечественной прозы. В самом начале «Войны и мира» Л. Толстой выписывает выразительную

мизансцену дворянской светской жизни, показывая читателю салон Анны Шерер. Эта зарисовка, как нам кажется, вживе схватывает и форму, и существо того феномена, который в современной герменевтике обозначается понятием «дискурс». Или – «дискурсивная практика». Схватывает и позволяет сфокусироваться именно на тех измерениях дискурсивных практик, которые являются важными для дальнейшего развертывания данного анализа. Итак, – Толстой.

Анна Павловна возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор. Как хозяин прядильной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идет, сдерживает или пускает его в надлежащий ход, – так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину.

Что же производит эта «разговорная машина»? Не в последнюю очередь – определенный порядок и размерность сущего. В частности, она производит дискурс как некую «совокупность высказываний, принадлежащих к одной и той же дискурсивной формации» (Фуко 1996, 117). Порождает совокупность высказываний, заведомо обузданных и укрощенных рамками некой, заранее принятой, речевой, коммуникативной нормы. Нормы, понимаемой не только лингвистически, а именно – нормы социальной, культурной, эстетической, этической, сословной. Нормы, впитавшей в себя сложный раствор безмолвных, но жестких и принудительных, светских правил. Нормы, суть которой неплохо схватывается французским фразеологизмом «comme il faut». Именно – «как следует», «как прилично», «как принято». Представляется, что такого рода нормативность как нельзя лучше сопровождает и выражает цельность той или иной «дискурсивной формации».

Современные представления о дискурсе можно свести к аналитической схеме, где дискурс истолковывается как «речь в контексте», как текст в ситуации реального общения. Н. Д. Арутюнова отмечает: «Дискурс – это связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; Это – текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания. Кратко говоря, дискурс – это речь, погруженная в жизнь» (Арутюнова 1990, 136). Определяя терминологический статус дискурса, Е. А. Кожемякин следующим образом

суммирует различия текста и дискурса: дискурс принадлежит к сфере социальных действий, обладает таким свойством как процессуальность, воспроизводит событие, диалогичен и полифоничен (см.: Кожемякин 2008, 108). Следовательно, при интерпретации дискурса значительную роль должен играть учет экстралингвистических, а именно социально-исторических и культурных, факторов, повлиявших на формальную организацию процесса коммуникации, а сам дискурс должен рассматриваться как процессуальная деятельность (см.: Арутюнова 1998, 137).

Представляется, что эти (и многие иные) различия и констатации, в конечном счете, восходят к работам представителей философского структурализма второй половины XX века. Так, М. Фуко в «Археологии знания» формулирует: «И, наконец, можно уточнить понятие дискурсивной “практики”. Нельзя путать ее ни с экспрессивными операциями, посредством которых индивидуум формулирует идею, желание, образ, ни с рациональной деятельностью, которая может выполняться в системе выводов, ни с “компетенцией” говорящего субъекта, когда он строит грамматические фразы» (Фуко 1996, 118). Иначе говоря, Фуко допускает, что поверхность дискурса может быть изменчивой, вариативной, сформулированной «как следует», но допускающей разноцветность, спектральность, прихотливость. А вот сущность дискурса, его смысловая абиссаль, детерминированы куда более серьезно. Фуко продолжает свою мысль так: дискурсивные практики – «это совокупность анонимных исторических правил, всегда определенных во времени и пространстве, которые установили в данную эпоху и для данного социального, экономического, географического или лингвистического пространства условия выполнения функции высказывания» (Фуко 1996, 118).

Толстовская Анна Павловна Шерер будто бы намеренно прочла и постигла эту аксиоматику Фуко. Ведь она-то и является гарантом скрупулезного, пуристского соблюдения «анонимных исторических правил», принятых в тогдашнем высшем свете. Анна Павловна ничего не диктует. Все ее действия как хозяйки салона выражаются в неких микродвижениях, в незаметных со стороны инициативах, тонко настраивающих ритм и формы «комильфотных» дискурсивных практик «светской черни». В итоге – сплошная дискурсивная округлость и любезность, ничего экстраординарного, выпирающего из рамок и необычного, например, – слишком громко и экспрессивно начавшего высказываться Пьера Безухова, тотчас строгим взглядом Анны Павловны приструненного и укрощенного.

В сущности, любая дискурсивная практика – это «равномерная, приличная случаю и общему настроению разговорная машина». Равномерная в том смысле, что равная самой себе, лишенная любых

пиковых или провальных элементов. Приличная в том смысле, что не нарушающая интересубъективных правил, принятых в данном социальном слое, в известной мере – бесцветная, серенькая. Именно – *comme il faut*. А порой возникающие и допустимые флуктуации, намеренно-целевые нарушения в работе этой разговорной машины прекрасно были схвачены в пушкинской строфе: «Вот крупной солью светской злости // Стал оживляться разговор [...]» Подчеркну, что описанное выше является примером вполне развитых дискурсивных практик. Таких, где можно обнаружить устойчивые, закрепленные – в том числе и в письменных текстах – параметры того или иного дискурса.

Обратимся теперь к нашему предмету – крестьянским дискурсам. Начнем с той, простейшей, констатации, что крестьянские дискурсы – это материя устная. И это, прежде всего, – «голоса снизу». Что такое «голос снизу»? В нашей проекции это – коммуникативные массивы, добытые в ходе социологических экспедиций в русские деревни и села, хутора и станицы. Это – речевые продукты, производимые крестьянами. Как уже отмечено выше, чикагский антрополог и социолог Редфилд однажды весьма точно назвал крестьян «нерассуждающим большинством». Характеристика – горькая, верная и уже изрядно устаревшая. И не потому, что «нерассуждающее», а потому что крестьяне – уже давно не «большинство». Но изменилось ли с течением времени это самое крестьянское «нерассуждение»? Нет, вероятнее всего, не изменилось. Крестьяне по-прежнему в определенном смысле не рассуждают. Но можно ли утверждать, что они не производят дискурс как специальную инструментально-логическую конструкцию, позволяющую обрести и выверить равновесие между субъектом и объектом, между индивидом и обществом, между историей и биографией? Какого рода и вида эта конструкция? И как можно говорить именно о крестьянских дискурсах?

Заметим – этот вопрос в литературе до сих пор не обсуждается. Видимо, он пока что не привлекает интереса и не заслуживает специального анализа. Свидетельство тому следующий красноречивый факт – из почти двухсот терминологических связей, имеющих в качестве сказуемого понятие «дискурс» и зафиксированных в Словнике энциклопедии «Дискурсология» (см.: Словарь терминов, понятий и концептов 2010), не нашлось места для «крестьянского дискурса». Последний просто не существует в сознании авторов Словника. Оно и неудивительно, – вряд ли среди, например, агонального, академического, андрогинного, артхаусного, байкерского, брутального, гастрономического, застольного, карнавального, меланхолического, мифологического, оперного, плутовского, психоделического, сардонического, шизофренического, эротического, этатистского, ювенального и еще более замысловатых,

числом свыше ста пятидесяти, разновидностей дискурса сегодня может отыскаться местечко для дискурса крестьянского. Почему же так? Вероятно, потому, что весьма распространено мнение, в соответствии с которым дискурс – это речевая практика избранных. Иначе говоря, дискурс как рассуждение, как своеобразная экзегеза может базироваться и обретаться лишь в образованных, интеллектуально искушенных, специализированных социумах. Такому, в сущности, поверхностному мнению весьма способствует и само словечко «дискурс» – иноземно и сугубо научно звучащее.

Но так ли это на самом деле? Что такое дискурс как понятие? Ряд исследователей, анализирующих представление о «дискурсе», отгалкиваются от понятия «текст». На наш взгляд, это весьма продуктивный аналитический ход. Действительно, дискурс – это не что иное, как текст. Текст, который «всегда с тобой». С кем бы ты ни разговаривал, какой бы текст как ткань, как переплетение реплик, вопросов, ответов, отговорок и умолчаний ты ни порождал – всё же текст есть нечто такое, которое можно бросить и забыть. От которого можно отрешиться и отказаться. Как, скажем, актер или докладчик может забыть или потерять текст роли или выступления. И придумать, соорудить другой текст. Но дискурс не забудешь, потому что он постоянно в тебе. Потому что он – в том коммуникационном мире, где ты не чужой, а свой. Где ты в своей – исхоженной, изведенной, обтопанной и обустроенной – лингвистической и социально-культурной среде. Где у тебя нет потребности что-то обосновывать, доказывать и логически выводить. Нет нужды развернуто объясняться, постулировать, опровергать, lamentировать и звать.

В этом смысле интересно мнение лингвиста В. З. Демьянкова, который подчеркивает, что дискурс обычно «концентрируется вокруг некоторого опорного концепта, создает общий контекст, описывающий действующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т. п., определяясь не столько последовательностью предложений, сколько тем общим для создающего дискурс и его интерпретатора миром, который “строится” по ходу развертывания дискурса» (Демьянков 2007, 86–95).

4. «Голоса земли»

Чем может быть специфичен именно крестьянский дискурс? Именно – тем общим опорным контекстом, на котором стоит крестьянский мир. Особенность крестьянских дискурсивных практик детерминирована тем обстоятельством, что крестьянский социум, создающий дискурс, образован

людьми, непосредственно, в силу своей хозяйственно-экономической диспозиции, без остатка включенными в локальный природный мир и в местный мир социальный. Крестьянин прикреплен к земле и к соседям, к ближайшей натуральной округе и к своей деревне, селу, станице, хутору. Он – человек этой, каждый раз «малой» земли. У него нет иных, чем традиционное природопользование, источников доходов, у него нет второго, удаленного и в иной среде находящегося, жилища. Кстати, это последнее обстоятельство резко отграничивает коренных крестьян от городских дачников, покупающих дома в наполовину опустевших деревнях, подолгу живущих на природе и формально включенных в крестьянский жизненный процесс. Но сколько бы ни старался горожанин жить по-крестьянски, – вести огород, держать мелкую скотинку, ходить по ягоды и грибы, – наличие у него иных источников дохода и комфортабельных городских квартир решительно препятствуют органичному включению горожанина в деревенский пейзаж. Он в нем – чужой. И по занятиям, и по облику, и по дискурсу. Кстати, порой очень забавно наблюдать и слушать породистых горожан, разговаривающих с крестьянами – при этом обычно звучит этакий псевдонародный воляпюк, интонационное и лексическое обезьянничанье, смешное, жалкое и беспомощное. Тотчас регистрирующее горожанина в качестве чужака и как временную в этих контекстах фигуру.

Таким образом, опорный концепт крестьянских дискурсов, его действующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т.п. – это именно деревенский микромир, природный и социальный. Он изначально элементарен, его элементы давным-давно сочтены, они относительно неподвижны, устойчивы и незамысловаты. Эту родовую специфичность крестьянских дискурсов, – специфичность, обусловленную их *locus nascendi* («местом порождения») можно, как мне кажется, наглядно проиллюстрировать, прибегнув к помощи мировой геоинформационной системы Google Earth, а именно – к обобщающим возможностям последней.

Легко убедиться, что использование этой волшебной электронной карты в процедурах поиска и рассматривания локальных деревенских миров мало что может дать мыслящему глазу – в лучшем случае, мы увидим несколько порядков деревенских изб и полосу центрального прогона. А позади домов – правильные контуры огородов и сенокосов, дорожки и тропинки – к речкам, колодцам, родникам. И это – всё! В то время как пространственное «хозяйство» городской среды, рассматриваемой с самолетных высот, тотчас внушает мысль о сложном и разветвленном жизненном космосе, своего рода универсуме, который даже в общей картографической проекции можно сколь угодно детально членить, сортировать, интерпретировать. Так и с крестьянским дискурсом

– рассмотренная с известного аналитического «расстояния», его основа и его материя внушает мысль о его элементарности, скудельности и бедной чистоте. В то время как соответствующий опорный концепт дискурса городского, не-крестьянского попросту неразличим и невычленим – настолько сложна и многослойна его структура.

Можно сказать, что крестьянский дискурс – это бегущая строка повседневных очевидностей. Это – разговорная машина, всякий производящая круговую панораму однотипных целей, комментирующая стандартные производственные акции и формулирующая из года в год воспроизводящиеся намерения. Крестьянский дискурс – это незамысловатая стенограмма бытия, направленного, прежде всего, на сохранение полноты органического существования субъекта. Такого существования, когда соблюден и обеспечен минимум условий для продления в будущее рутинных хозяйственно-экономических практик. Кратчайшая лексическая формула полноты органического существования, как нам кажется, такова – «сыты, обуты и одеты». К ней, пожалуй, можно добавить следующее – «с потолка не каплет, и с соседями нет разлада». Всё это и есть принципиальная схема типичных крестьянских дискурсивных практик. Их сокровенная сердцевина.

Крестьянские дискурсы, как правило, безоценочны. «Нерассуждения» в тех нарративах, которые были записаны нами в разных уголках сельской России, – это инстинктивный способ самосохранения. Это способ выстраивания социально-исторической безопасности. Не рассуждать и не оценивать – это значит не разрушить, не покалечить и даже как-то оправдать, принять пройденное пространство жизни. «Жизнь прожить – не поле перейти», говорит народ. Жизнь прожить сложнее и непредсказуемее, чем пересечь обозреваемый маршрут, – когда можно обойти канаву, перескочить через лужу и уклониться от буреломной чащобы. Вот поэтому и крестьянский дискурс о жизни есть не описание возможностей, которые были даны, но не реализованы (а такое описание изначально аналитично, оно есть рассуждение, оно есть организованный целесообразный текст), а, скорее, прихотливая, движущаяся топология и топография пережитого и прожитого. То есть никаких «ежели да кабы»! Никакой детерминации будущим. И только так – «Бог даст день, бог даст и пищу». Или – «поживем-увидим». Только детерминация настоящим. И, разумеется, прошлым – проверенным опытом отцов и дедов.

5. Народная пословица и изысканный афоризм

Пытаясь прояснить специфичность крестьянских дискурсивных практик, я попробую рассмотреть и сравнить способы выговаривания, формулирования, лексико-семантического оснащения неких сжатых, лаконичных речевых продуктов, которые обозначаются как, во-первых, «крылатые мысли», «афоризмы» и как, с другой стороны, – «народные речения», «пословицы», «поговорки». Начну с исходных определений.

Афоризм (греч. αφορισμός, «определение») – оригинальная законченная мысль, изречённая или записанная в лаконичной запоминающейся текстовой форме и впоследствии неоднократно воспроизводимая другими людьми. В афоризме достигается предельная концентрация непосредственного сообщения и того контекста, в котором мысль воспринимается окружающими слушателями или читателями. Афоризм – это «алгебра мыслей» (Г. Александров). Афоризм – это «мысль, исполняющая пируэт» (Ж. де Брюйн).

Пословица – жанр фольклора, афористически сжатое, образное, грамматически и логически законченное изречение с поучительным смыслом.

Поговорка – образное выражение, оборот речи, метко определяющий какое-либо явление жизни; в отличие от пословицы поговорка лишена обобщающего поучительного смысла.

Сравним одно и другое, выбирая из библиотек афоризмов и пословиц те формулы, которые содержательно близки и которые можно наложить одна на другую без заметных семантических потерь.

Афоризм римлянина Тита Макция Плавта: «Когда состояние пришло в упадок, тогда и друзья начинают разбегаться».

Пословица из словаря В. Даля: «Богаты, так здравствуйте, а убоги – так прощайте».

Есть ли принципиальная, радикальная, непроходимая разница между ними? Будто бы – нет. Смыслы накладываются вполне, не оставляя содержательных зазоров. Но если Плавт явно и намеренно констатирует здесь причинно-следственные связи, излагает ситуацию преимущественно на аналитическом языке, то народная пословица говорит и показывает. Она явно выпроваживает анализ за пределы этой разыгранной жизненной сценки. Она выразительно сказывает и, одновременно, – «иносказывает». Но это иносказание не подчеркнуто и не акцентировано – как некое семантическое «модерато».

Еще пример. Уильям Шекспир, «Сон в летнюю ночь». Одна из героинь пьесы, Елена, афористически формулирует: «Самое дурное по виду и нраву любовь превращает в красивое и достойное». Это – подстрочник.

Переводчик М. Лозинский чеканит: «Тому, что низко и в грязи лежит // Любовь дарует благородный вид».

Народная пословица рисует поучительную этическую картинку: «Не по хорошу мил, а по милу хорош».

Что тут скажешь? Проверенный гносеологический принцип «quid pro quo» («одно вместо другого») в данном случае не работает. Точнее, он действует, но с поправкой, что называется «на аудиторию», на воспринимающую публику. Одни поймут и усвоят абсолютное нравоучительное правило, этическую максиму, других вдохновит надежда на вполне возможный жизненный парадокс. Еще два примера.

Аристотель утверждает: «Надежда – это сон наяву».

Поговорка предупреждает: «На ветер надеяться – без помолу быть».

Евангелист Лука возвещает горькую истину: «Всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (от Луки, 19, 26).

Русская поговорка предлагает две выразительнейших, но и, одновременно, довольно бесстрастных мизансцены: а) «Мерзлой роже да метель в глаза» и б) «Где тонко, там и рвется». Как видим, при сравнительно одинаковых глубинах смысловой и интеллектуальной разведки, пословица и афоризм являют собой различные манеры и технологии познавательного бурения мира. И здесь нужна внимательная работа по сравнению этих разных манер.

6. Дискурсивные месторождения

Чем может быть полезно подобного рода сопоставление? Прежде всего тем, что в данном случае можно вполне удостовериться в совпадении смыслов, базисной семантики. Но и, в то же время, здесь можно воочию наблюдать различия «афористической» и «пословичной» дискурсивных «подсветок», разность дискурсивных фоновых практик, своеобразие дискурсивных манер. Тут – не просто разностильность. Тут – разные горизонты добычи, разные «геологические» пласты. В такого рода текстовых параллелях становятся ощутимыми наглядные глубинные различия «анонимных историко-культурных правил» (Фуко). То есть – правил писаной афористики и правил устного фольклора, которые, каждые по-своему, формулируют и выдавливают на поверхность по-разному сверкающие, но семантически инвариантные и одинаково драгоценные дискурсивные кристаллы.

Как вычленишь из записанного текстового пространства, из крестьянского нарратива, дискурс? На наш взгляд, очень просто. Нужно произвести с текстом операцию флотации, обогащения, извлечения его

содержательных, подлинно дискурсивных, фракций. По форме эта операция такова: нужно убрать из поля зрения, «отбросить» те фрагменты интервью, которые выглядят как перемежающиеся, неразвернутые, вопросы и ответы. Сами по себе они, несомненно, информативны. Но глубинная содержательность таких фрагментов обнаруживается только в их сцеплении. Только в диалоге социолога и респондента.

Дискурсивные практики в их достаточном для анализа объеме возникают тогда, когда респондент самостоятельно управляет информационным потоком. Когда он увлекается. Когда он, – инстинктивно, случайно, неосознанно, – порой даже отвлекшись от поставленного социологом вопроса, начинает увлеченно воплощать собственные повествовательно-информационные, рождающиеся из глубины его сознания и, тем самым, подлинно дискурсивные инициативы. А последние требуют достаточно развернутого, широкого речевого пространства. Требуют полноценного монолога. Поэтому найти и выделить крестьянские дискурсы формально нетрудно – стоит только отыскать в расшифрованных текстах достаточно пространные, увлекающие и рассказчика, и слушателя, фрагменты. А потом попытаться понять их специфику именно как дискурсивных практик.

Но это понимание – самое, по всей вероятности, нелегкое, что может ожидать нас в задуманной работе.

Заключение

Суммируя вышесказанное, можно подвести итог следующим образом. Крестьянский дискурс – это не столько сосредоточенное, углубленное размышление, сколько попутно возникающее выстраивание незамысловатой аксиоматики повседневного существования. Это – в мелочах и подробностях развернутый показ некой изначально понятной, освобожденной от парадоксов, нормальной картины «трудов и дней». Эта картина незатейлива, элементарна, рутинна, всецело построена на вращающемся в одной плоскости деревенском жизненном опыте. Крестьянская жизнь и крестьянские дискурсивные практики принципиально не парадоксальны. Бытийная «пряность» ей не присуща. В повседневное существование крестьян не заложены (как некий жизненный проект) крутые повороты, разрывы, сдвиги и скачки. Крестьянская повседневность – это скорее воспроизводство малоподвижных жизненных технологий, неторопливо циркулирующий временной круг, «бегущая строка», сезонно возобновляющая привычные и необходимые картинки бытия. Лексика и синтаксис, размечающие подобного рода

жизненный процесс, не предполагают и не требуют развитой семантической глубины и четкой логической расставленности. Какие бы то ни было окончательные оценки, «подводящие черту» и, следовательно, неоспоримые итоги допущены в крестьянские дискурсивные форматы нечасто, да и то в интервале конкретной и заведомо понятной ситуации. Крестьяне не торопят время. Они действуют вровень с ним, опасаясь своевольно запрыгивать в будущее. Акты долгосрочного жизненного проектирования чужды им как самонадеянная гордыня. Грядущее явится само – как не вполне размеченное и поэтому свободное пространство. Поэтому не случайно в народном языковом обиходе вечно живет известная, оправдывающая любые, даже неуклюжие, практики бытия, с виду нерешительная, постоянно откладывающая и лукаво отсрочивающая формула «утро вечера мудренее». Но эта «темпоральная хитрость» оправдана. Ведь, в сущности, в ней генетически упрятан и психологически замаскирован дискурс предусмотрительного смирения и неуверенной, осторожной, опасливой, но все же неутомно-бодрствующей надежды. «Не плачься, что ночь студена: ободняет, так обогреет».

Библиография

- Арутюнова, Н. Д. (1998), Язык и мир человека. Москва.
- Арутюнова, Н. Д. (1990), Дискурс. В: Ярцева, В. Н. (ред.), Лингвистический энциклопедический словарь. Москва, 136–137.
- Виноградская, О. Я./Виноградский, В. Г. (2007), Фермерские хозяйства как элементы «сетей мирского устройства». [в:] Никоновские чтения. Москва. 12, 226–228.
- Виноградский, В. Г. (2011), Крестьянские координаты. Саратов.
- Виноградский, В. Г. (2012а), Конец «живого беспорядка». В: Человек. Москва. 1, 68–81.
- Виноградский, В. Г. (2012b), Протоколы колхозной эпохи. Саратов.
- Виноградский, В. Г. (2016), Язык доводящий. Походка, стиль, дискурс. [в:] Новый мир, 6, 168–181.
- Григорьева, В. С. (2007), Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагматический и когнитивный аспекты. Тамбов.
- Демьянков, В. З. (2007), Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка. [в:] Вопросы филологии. Спецвыпуск. Москва, 86–95.
- Йоргенсен, М. В./Филиппс, Л. Дж. (2004), Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков.
- Карасик, В. И. (2002), Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград.
- Кожемякин, Е. А. (2008), Дискурс: терминологический статус и коррелирующие понятия («текст», «язык», «мышление», «коммуникация»). [в:] Коммуникация в современной парадигме социального и гуманитарного знания. Москва, 108–116.
- Редфилд, Р. (1992), Крестьянство как социальный тип. В: Гордон, А. В. (ред.), Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. Москва, 70–72.
- Седов, К. Ф. (2004), Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции. Москва.
- Словарь (2010), Словарь терминов, понятий и концептов. [в:] <http://madipi.ru/> [доступ 30 сентября 2015].
- Фуко, М. (1996), Археология знания. Киев.
- Чернявская, В. Е. (2006), Дискурс власти и власть дискурса. Проблемы речевого воздействия. Москва.

